

Борис Братусь

**«МЫ ЖИВЕМ,
А СМЕРТЬ НАС СТОРОЖИТ...»***

Аннотация. Рассматривается отношение к времени жизни и смерти на всех возрастных этапах человека. Показано, что смерть уводится из ясной презентации сознанию в темницы бессознательного, при этом ложь накануне смерти лишает его сочувствия и жалости. Акцентируется мысль на том, что, когда делать уже не можешь, надо научиться жить и что успокоение на счет смерти становится на пути к полноте бытия, когда становится не страшно и когда возникает жажда духовного. Однако человек может лишить себя автономии духовного присутствия.

Ключевые слова: смерть; жизнь; отношение к смерти на этапах возраста; ложь; умение быть; смерть как способ бытия; ужас перед смертью; духовная жажда; проблемы внутренних смысловых коллизий; обособленное самосозидание.

Abstract. Attitude to life time and death in all periods of man's living is considered in the article. It is argued that death is taken away from clear presentation to the consciousness to dungeons of unconsciousness, meanwhile lie before death deprive him of sympathy and pity. The idea is stressed at the point, that when it is impossible to do anything one should learn to live and calming about death prevent a person from fullness of being when one is no longer terrified and eager for spirituality arises. However a man can deprive himself of autonomy of spiritual presence.

Keywords: death; life; attitude to death at stages; lie; ability of being; death as a way of being; horror of death; spiritual thirst; problem of inner meaning collisions; isolated self-creation.

Изменение
отношения
к времени
и пространству
жизни

Важнейшим проявлением, маркером возрастных кризисов личности является изменение отношения к времени и пространству своей жизни, которое особо фокусируется, концентрируется в проблеме смерти.

Поначалу проблема, вернее первый осмысленный вопрос о ней, появляется в промежутке от трех до пяти лет. У С. Я. Маршака есть стихотворение о «четырёх годах бессмертия» – о том рубеже, с которого в детское сознание входит представление (детское, разумеется) о смерти.

Смерть может
сторожить каждого!

Один мой друг вспоминал, как примерно в этом возрасте его вдруг проняло, что смерть может относиться не только к другим, но и к нему самому. Это

* Старинный псалом: Media vita in morte sumus...

была все же ещё гипотеза, предположение, нежели утверждение, и за разъяснением он отправился к соседям по коммунальной квартире (дело было в начале пятидесятих прошлого века). Те ответили, что волноваться нечего – он наверняка проживет целых сто лет. «Ну а потом?» – спросил малыш. Соседи успокоили: «Ты даже проживешь тысячу лет». Малыш легко принял это обещание, задумался и вновь залился слезами: «А потом?». Соседи включились в игру, стали говорить, что он проживет миллион лет, десять миллионов лет... Малыш понимал, что это какие-то очень большие сроки, но каждый раз, приняв их к себе, осушив на время слезы, задавал все тот же вопрос: «А потом?». Ответ, на самом деле, которого он ждал и на который так надеялся – что ему скажут, будто он не умрет вовсе. Как это возможно – было для его детского сознания уже несущественной деталью, так же как возможность жить тысячу или миллион лет.

Дети предпринимают попытку определить своё отношение к смерти

У Корнея Чуковского в замечательной книге наблюдений «От двух до пяти» целый раздел посвящен высказываниям детей этого возраста о смерти. Приведем три заметки из этой книги.

«Если вы вздумаете рассказать ребенку всю правду о смерти, он из вечного детского стремления к счастью немедленно примет все меры, чтобы заменить эту правду соответствующим мифом».

Ребенок не готов признать, что он, как и все, смертен

«Вася Катанян, четырех лет, недоверчиво спросил свою маму:

– Мама, все люди умирают?

– Да.

– А мы?

– Мы тоже умрем.

– Это неправда. Скажи, что ты шутишь.

Он плакал так энергично и жалостно, что мать, испугавшись, стала уверять его, что она пошутила.

Он успокоился сразу:

– Конечно, пошутила, я же знал. Сначала мы будем старенькие, а потом опять станем молоденькими» [1, с. 156–161].

В душевном арсенале ребенка есть достаточно средств для сохранения оптимизма

«Оптимизм нужен ребенку как воздух. Казалось бы, мысли о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший удар. Но... в его душевном арсенале есть достаточно средств для защиты необходимого ему оптимизма. Едва только, на исходе четвертого года, ребенок убеждается в неотвратимости смерти для всего существующего, он торопится тотчас же уверить себя, что сам он вовеки пребудет бессмертен.

В автобусе круглоглазый мальчишка лет четырех с половиною глядит на похоронную процессию и говорит с удовольствием:

– Все умрут, а я останусь».

В подростковом возрасте человек всерьез сталкивается с феноменом смерти

Серьезное столкновение с фигурой смерти подразумевает кризис подросткового возраста. Здесь уже могут появиться (да минует!) первые осознанные попытки самоубийства, а иногда даже их эпидемии. Отношение меняется в юности, когда человек «пьян жизнью».

В «Фаусте» Иоганна Вольфганга фон Гёте юный бакалавр без тени сомнения возглашает:

«Вот назначенье жизни молодой»

*Вот назначенье жизни молодой:
Мир не был до меня и создан мной.
Я вывел солнце из морского лона,
Пустил луну кружить по небосклону,
День разгорелся на моём пути,
Земля пошла вся в зелени цвести,
И первую же ночь все звезды сразу
Зажглись вверху по моему приказу.*

<...>

*Куда хочу, протаптываю след,
В пути мой светоч – внутренний мой свет.
Им всё озарено передо мною,
А то, что позади, объято тьмою.*

Мефистофель надменно и мрачно комментирует этот спич:

*Ступай, чудака, про гений свой трубя!
Что б случилось с важностью твоей бахвальской,
Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской,
Которой бы не знали до тебя!
Разлившиеся реки входят в русло.
Тебе перебеситься суждено.
В конце концов, как не бродило б суло,
В итоге получается вино [2].*

В ранней взрослости фигура смерти играет роль контрапункта душевных кризисов

Затем ранняя взрослость, направленная на завоёвывание мира, своего в нем места, когда всё хочется видеть возможным и достижимым. Надо ли говорить, что эти движения на деле никогда не бывают всегда гладкими и фигура смерти играет здесь роль важнейшего контрапункта душевных кризисов и поворотов.

Постепенно сроки приближения к концу становятся более представимыми

Примерно с тридцати пяти лет жизнь начинает представлять уже небесконечной, сроки будущего увядания и конца становятся все более представимыми, и вопросы о том, чем ты займешь это ограниченное (суживающееся) пространство возможностей и времени, становятся все более острыми («Неужели впереди до конца всё то же самое без изменений?», «То ли я делаю, к чему

действительно предназначен?» и т.п.). Как разрешение кризиса – выход на другой уровень служения и ответственности, внутренний переход к другим ценностям и целям, другому устройству смысловых предпочтений.

В возрасте за сорок будируется глобальный смысл существа самой человеческой жизни

В возрасте за сорок лет и далее под вопрос подпадают (могут подпадать) не только отдельные формы и уровни служения, но глобальный смысл самого существа человеческой жизни, и не в абстрактно-философской, а в конкретно-психологической форме, как личное переживание и открытие. И это уже не тот «страх и трепет», что до этого сопровождал (и не мог не сопровождать) предыдущие кризисы. Там кризис был связан с желанием полноты жизни, счастья, пользы близким и миру и т.п. Здесь под вопросом оказывается вся жизнь, любая жизнь – с её возможными успехами, счастьем, служением, покоем и т.п.*

Смерть уводится из ясной презентации сознанию в темницы бессознательного

Появляется затмевающая фигура «ничто» или – образным языком Г. Р. Державина – «жерла вечности», что «все пожрёт» и чему, собственно, нечего противопоставить смертному человеку. Осознавание этого потрясает (может потрясать) до глубины всего существа, вызывая (в психологическом плане) уже даже не страх, но *ужас* (для перевода в философский ранг надо предположить прилагательное «онтологический»). Естественная реакция – его как-то угасить, перевести хотя бы в страх (снизить от онтологического к житейскому), защититься, одомашнить, сделать по возможности ручным,

* Под вопросом, в круг (свет) напряженно судящего кризисного сознания личности входит (может войти) сам человек, даже в основе именованного понятия о котором нередко заложена смерть: распространенный раньше в русском языке синоним «человека» – «смертный», греческое *anthropos* так же означает «смертный», латинское *homo* – «земной (прах)». Образы соприсутствия смерти разбросаны во множестве памятников культуры и религии, в частности, и в тех строках средневекового псалма, что вынесены в заголовок статьи: *media vita in morte sumus* – «мы живем, а смерть нас сторожит», что может быть понято в двух, по крайней мере, оттенках смысла: подстораживает, *подглядывает*, наблюдает, чтобы не пропустить своего вступления и часа (у А. С. Пушкина: «И всех вас гроб, зевая, ждет»). И, собственно, сторожит, контролирует, *приглядывает* за нами, не просто ожидая (боясь проспать) конца нашей жизни и своего начала, но оценивая, взвешивая относительно своей весомости нашу текущую легковесную жизнь, осознание чего может не только вводить в уныние, тоску и апатию, но – напротив – стимулировать, поднимать, переводить на другой уровень ответственности и бытия. Словом, как ни прозвучит парадоксально, помогать оживлять нашу жизнь и наполнять до краев, делая нас куда более человеческими, живыми и сострадательными, нежели в отсутствие грозного сторожа.

управляемым. Пусть и зверем, но в клетке, ограждении, дремлющим и ждущим на расстоянии своего выхода, который, конечно, настанет, однако не сейчас, а когда-то, не со мной, пожалуйста, а с другим. Смерть уводится из ясной презентации сознанию (личности) в плохо освещенные темницы бессознательного. Даже умирание другого как свершающийся наглядный факт не извлекает её из области затемнения. Более того: «Ведь видят же нередко в умирании других публично неприличие, если не прямо бестактность, от которой публичность должна быть охранена», – заметил Мартин Хайдеггер, ссылаясь при этом в качестве иллюстрации на повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» [3, с. 254].

Ложь накануне смерти человека лишает его сочувствия и жалости

Не подобные ли строки имел в виду в своей отсылке М. Хайдеггер: «Главное мучение Ивана Ильича была ложь, – та, всеми почему-то признаваемая ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Его мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, и хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение».

Но возможно (хотя, к сожалению, куда более редко) и другое. Митрополит Антоний Сурожский привел следующий рассказ о своем друге – тоже, как и толстовский Иван Ильич (прототипом которого, как известно, был крупный судебный чиновник, брат великого физиолога Ильи Ильича Мечникова), энергичном и успешном деятеле. Он писал: «В какой-то момент он заболел желтухой, очутился в госпитале, где врачи его обследовали и обнаружили не подлежащую операции опухоль, которая распространилась на печень. Ему ничего не сказали, но сказали мне и его сестре, и я пошел его навестить. Он лежал на койке – сильный, высокий, красивый человек – и сетовал: “Как некстати! Столько дел и вот: я в постели и мне даже не могут сказать, как долго это продлится!” Я сказал: “Сколько раз вы мне говорили: как бы хотелось остановить время, чтобы ничего не надо было *делать*, а только *быть*. Вы никогда этого не осуществили”. Он ответил: “Нет”. Что же, Бог сделал это за вас.

Когда делать уже не можешь, надо научиться быть

Делать вы ничего не можете. Научитесь *быть*». Он посмотрел на меня и сказал: “Да, действительно, но как?”

Быть означает как бы пребывать в вечности. Нельзя “просто быть” в пустоте между небом и землей”. Я сказал: “Это очень просто. Во-первых, нужно примириться со всем, что произошло в вашей жизни, с собственной совестью, с окружающими вас людьми, со всеми теми, кого приходилось встречать, со всеми обстоятельствами жизни, со всеми словами и поступками, и с Богом. Давайте займемся этим. Подумайте о своем непосредственном окружении: о родственниках, друзьях, знакомых – и поставьте перед собой вопрос: примирился ли я с каждым из них. Если нет – ищите примирения”.

...Так мы перебрали все его окружение.

Когда в сердце водворяется мир, человек ощущает себя в бытии

Это была борьба, это было не просто, но у него в сердце водворялся мир, и мы продолжали двигаться дальше, вскрывая слой за слоем...

Этим мы и занимались. Мы занимались этим три месяца, в течение которых он постепенно угасал. И когда он уже умирал, недели за две до смерти, когда от него уже ничего не оставалось, кроме больших сияющих глаз, слишком слабый, чтобы держать ложку, он мне сказал: “Знаете, мое тело почти умерло, но я никогда не ощущал себя таким интенсивно живым, как сейчас”. И поскольку он обнаружил, что жизнь зависит не от физического состояния, а от цельности, которую приобрел, от жизни преизбыточествующей, в которую погрузился, он смог взглянуть в лицо смерти так, как не смог бы взглянуть, если бы предстал перед ней со всем грузом своего прошлого, со всей горечью, болью, неудовлетворенностью и отчуждением» [4, с. 21–23].

Прячущееся уклонение от смерти упрямо господствует над повседневностью

Вернемся к цитированию М. Хайдеггера. Он писал: «Прячущее уклонение от смерти господствует над повседневностью так упрямо, что в бытии-друг-с-другом “ближние” именно “умирающему” часто еще втолковывают, что он избежит смерти и тогда сразу снова вернется в успокоенную повседневность своего устраиваемого озабочением мира» [3, с. 253].

Но, казалось бы, как иначе? Разве не так должны поступать близкие, вообще «утешающие», разве не того ждут от врача, психолога, священника, психотерапевта?

Успокоение на счет смерти становится на пути к полноте бытия

Но в результате «успокоение на счет смерти» становится на пути к полноте бытия – того, что М. Хайдеггер обозначает словом “Dasein”, что переводится с немецкого как «быть (налицо)», «существование», «*присутствие*»*.

* В. В. Бибихин в своем замечательном переводе «Бытия и времени», здесь цитируемом, предпочитает значение «присутствие».

Именно осознание смерти (о чем, в частности, говорил С. Л. Рубинштейн) переводит существование в срочное (имеющее срок) обязательство, врученное нашей ответственности, что подразумевает необходимость полного «присутствия». И тогда не об избавлении от смерти, как таковой, мы можем просить (молить), а об избавлении от «преждевременной смерти» – до срока выполнения наших обязательств, до исполнения всей полноты замысла о нас (для верующих – спасения души).

Смерть – способ
быть, который
присутствие берет
на себя

Но для такого рода осознания, а главное – соответствия ему нашей жизни (существования, присутствия, бытийствования), смерть должна предстать не только «отложенным фактом», который надо иногда краем сознания «иметь в виду», но: «Смерть – способ быть, который присутствие берет на себя, едва оно есть», – писал М. Хайдеггер, прибавляя замечание средневекового автора: «Едва человек приходит в жизнь, он сразу же достаточно стар, чтобы умереть» [3, с. 245]. В этом контексте уместен и ответ Конфуция на вопрос: «Как служить духам и что такое смерть?». Мудрец ответил: «Когда не умеют служить людям, то где же уметь служить духам. Когда еще не знают, что такое жизнь, то где же знать, что такое смерть» [5, с. 183].

Страх перед уходом
из жизни нельзя
смешивать с ужасом
перед смертью

М. Хайдеггер специально подчеркивал, «со страхом перед уходом из жизни ужас перед смертью смешивать нельзя. Он никак не прихотливое и случайное “упадочное” настроение единицы, но как основорасположение присутствия, разомкнутость того, что присутствие, как брошенное бытие, экзистировать к своему концу. Тем самым проясняется экзистенциальное понятие умирания как брошенного бытия к наиболее своей, безотносительной и необходимой способности быть. Отграничение от чистого исчезания, но также и от лишь-околеваания и, наконец, от “переживания” ухода из жизни возрастает в отчетливости» [3, с. 251].

Почему
«присутствие»
никогда не околеваает

Чтобы не отпугнуть сложностью хайдеггеровского текста* от проникновения в важнейшую тему, вернемся к феноменологии, исходя из которой, удерживая её в поле зрения, можно было бы оправдать эту сложность

* Понятия, присутствующие в тексте, М. Хайдеггер вводит в той же (не для легкого чтения) манере: «Конец живого мы назвали *околеванием*», «...присутствие может кончиться собственно и не умерев, а с другой стороны, qua присутствие не просто околеваает, назовем этот промежуточный феномен *уходом из жизни*. Умирание будет титулом для *способа быть*, каким присутствие *есть* к своей смерти. Тогда можно сказать: присутствие никогда не околеваает. Уйти же из жизни оно может лишь пока умирает» [3, с. 247].

как специфику инструмента, необходимого для понимания такого предмета. Обратимся к «Исповеди» Л. Н. Толстого, к строкам: «Так я жил, но пять лет назад со мной стало случаться что-то очень странное». Под «странным» Толстой имел в виду среди прочего пережитый им «арзамасский ужас». Его мы и выберем, чтобы феноменологически ощутить, подступиться к пониманию того, что хочет сказать немецкий философ о разнице между «страхом смерти», «ужасом перед смертью», «умиранием», «околеванием», «уходом из жизни» и о том, почему «присутствие никогда не околеваает. Уйти из жизни оно может, лишь пока умирает».

Мрачные мотивы носили случайный характер

Л. Н. Толстому 39–40 лет. По словам его биографа, «в общей гамме переживаний мрачные мотивы носили случайный характер, они быстро растворились в основной радостной теме, но все же эти зародыши, грозные предвестники грядущего душевного кризиса, почти всегда отражались на семейных отношениях. Они ненадолго перебивали их, равновесие быстро восстанавливалось, и по-прежнему спокойно протекала нормальная жизнь мыслителя-художника, помещика и доброго семьянина» [6, с. 92].

Вдруг нашла тоска, страх, ужас...

На этом фоне Толстой предпринимает деловую, хозяйственную поездку в Пензенскую губернию для покупки нового имения. И здесь, в пути, ночью (обратим внимание на эту нередкую субъективную внезапность посещения – словно «тать в ночи») с ним и происходит «странный» – застигающее врасплох, пугающее и обескураживающее, выбивающее из колеи. Он сообщил об этом в письме (сентябрь 1869 г.) жене: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал... Никому не дай Бог – испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более что оно было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. В эту поездку я в первый раз почувствовал, до какой степени я сросся с тобой и детьми».

«Было что-то необыкновенное», что ранее «никогда не испытывал»

Фрагмент этот, конечно, не есть обещанная феноменология: «было что-то необыкновенное», что ранее «никогда не испытывал», «потом прошло», «нынче чувствую себя здоровым и веселым». И это – Лев Толстой. Наши же рассказы о произошедших с нами даже чрез-

вычайных обстоятельствах и вовсе бывают крайне одно-
сложными, сводясь чуть ли не к двум-трем экспрессив-
ным восклицаниям. И действительно – поди разберись
сразу в существе и нюансах сильной эмоции, по свежим
следам которой («третьего дня») ты пишешь письмо
домой. Надобно расстояние, срок для переживания и
раздумий, пронзительный взгляд опытного наблюдате-
ля и жизнеописателя. Вот как стал выглядеть этот эпи-
зод в автобиографической повести Л. Н. Толстого.

Из рефлексий
Л. Н. Толстого

Вначале веселье

«Имень с большими лесами продавалось в Пензен-
ской губернии... Я собрался и поехал.

Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слу-
гою), потом поехали на почтовых перекладных. *Поезд-
ка была для меня очень веселая.* Слуга, молодой, добро-
душный человек [Сергей], был так же весел, как и я.
Новые места, новые люди; мы ехали, *веселились...*

Наступила ночь...
стало страшно... Все
было постыло

Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать.
Я задремал, но *вдруг* проснулся. Мне стало чего-то *страш-
но...* “Зачем я еду? Куда я еду?” – пришло мне вдруг в
голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево
имение, но вдруг представилось, что мне не нужно, неза-
чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне
стало *жутко*. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовал-
ся этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем
крае, он отвечал, шутил, но мне было *скучно*. Заговорили
о домашних, о том, как мы купим. И мне *удивительно*
было, как он весело отвечал. Всё ему было хорошо и весе-
ло, а мне всё было *постыло*. Но все-таки, пока я говорил
с ним, мне было легче. Но, кроме того, что мне скучно,
жутко было, я стал чувствовать усталость, желание оста-
новиться. Мне казалось, что войти в дом, увидеть людей,
напиться чаю, а главное, заснуть – легче будет.

Показались
в темноте домишки.
И все это невесело
было

Мы подъезжали к городу Арзамасу... Показались в
темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный
топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов.
Дома пошли кое-где большие, белые. И все это *невесело
было*. Я ждал станции, самовара и отдыха – лечь.

Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с стол-
бом. Домик был белый, но ужасно мне показался *груст-
ный*. Так что *жутко* даже стало. Я вылез потихоньку.

Сергей бойко, живо вытаскивал что нужно, бегая и
стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня *тоску*.
Я вошел, был коридорчик; заспанный человек с пятном на
щеке, пятно это мне показалось *ужасным*, показал комна-
ту. *Мрачная* была комната. Я вошел, еще *жутче* мне стало.

– Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

– Есть номерок. Он самый.

Мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, *мучительно* мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной...

Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван... Стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я – вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя.

Мне так же, еще больше страшно было

...Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. “Да что это за глупость, – сказал я себе, – Чего я тоскую, чего боюсь?” – “Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут”. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. *Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся.* А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, *право на жизнь* и вместе с тем *совершающуюся* смерть. И это *внутреннее раздиранье* было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть.

Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь

Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене – ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска – такая же духовная *тоска*, какая бывает перед рвотой, только *духовная*. Жутко, страшно. *Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно.* Как-то жизнь и смерть *сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать...* Еще раз попытался заснуть; все тот же ужас – красный, белый, квадратный. *Рвется что-то, а не разрывается.* Мучительно, и мучительно сухо и злобно...» (курсив мой. – Б. Б.).

Вехи случившегося

Итак, попробуем обозначить некоторые вехи случившегося.

Поездка героя навстречу выгодной покупке «очень веселая», ехали и «веселились» с добродушным работником. Ночью, задремав дорогою, «вдруг проснулся» и стало «страшно», затем «жутко». Разговор и шутки слуги, что недавно так располагали, стали (вдруг) «скучны» и «удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло». И дома ночного города, в который они въезжали, и отражение от их стен звука колокольчика и лошадиных копыт – «все это невесело было».

Домик почтовой станции, к которой подъехали в Арзамасе, показался «ужасно грустным. Так что жутко даже стало». Суета расторопного слуги, топот его ног на крыльце «наводили тоску». И пятно на щеке у станционного сторожа «показалось ужасным», и общая комната проезжих была «мрачная», при входе в неё «ещё жутче» стало. И отдельный «номерок», снятый для отдыха, – выбеленный и квадратный – мучителен своей квадратностью...

Словом, все видимое начинает символизировать тягость, мрак, что подступают со всех сторон. Это как бы «продром» – ощущение безвыходности, безысходности прежними выходами и исходами (разговорами о том, «как мы купим», «о здешнем крае», мыслями «о покупке», «о жене» и т.п.). Словно что-то подспудно зревшее, бродившее прорывается и затопляет внутреннее пространство, сметая прежние опоры и тверди. Эта перемена настолько властно-убедительна и очевидна, что становятся странными свои ещё недавние (несколько часов тому) веселье и бодрое настроение, равно как простодушие и радость спутника. Особо мучительно деление этого теснения и тупика, ожидание (жажда) разрешения, облегчения и никак не получение их: «раздирает и не может разодрать», «тоска, которая бывает перед рвотой, только духовная»*.

Все созерцаемое
начинает
символизировать
тягость, мрак

* Много лет назад мой коллега, пытавшийся подобрать слова для описания своего кризиса, повторил буквально то же определение – «как бы духовная рвота» – совершенно не будучи знаком с этим текстом Толстого. Кризис этот, однако, случился с моим знакомым примерно в 25–26 лет и закончился (разрядился) обретением веры. По его словам, тяжесть кризиса была такова, что только память о родных и близких удержала его от роковых шагов. Причем это было не стремление к смерти, а ужас, плач о своей жизни. Речь, думается, идет об общих закономерностях (структуре) духовных обретений, рождению которых предшествует теснота (безвыходность, субъективная безысходность). Разработка этой темы в психологии блистательно начата более чем столетие назад Уильямом Джеймсом в его книге «Многообразие религиозного опыта», на этой же книге и как-то приостановилась, не пойдя далее описания феноменов и присваивания новых имен: пиковые переживания, измененные состояния сознания и т.п.

Психологические механизмы в норме и патологии в целом едины

Речь идет о жажде духовной

Подобное по структуре движение может быть предвестником и аномалий, ведь собственно психологические механизмы в норме и патологии в целом едины, но при одних условиях они дают развитие продуктивное, в других аномальное (7; 8). В данном случае это пример пусть острого, могущего быть мучительным и даже опасным (кризис вообще редко бывает милым и приятным) переживания, однако связанного с важнейшим нормативным пунктом духовного становления, с возможным перевалом к духовному уровню и сфере*. Умерьте эту муку, «расслабьтесь», отвлекитесь (испокон веков одно и то же – материальные приобретения, деньги, слава, власть и т.п.), – и возможность будет закрыта, высота не взята, новое пространство смыслового обитания не открыто. Следствием этого становится возвращение (спуск) к обжитому, истоптанному уже (что не исключает, конечно, поиска, утверждения новых (в рамках старого) аспектов, открытий, оправданий своего выбора и возврата). Такой вариант вполне может принести (на время) успокоение себя и близких, череду новых (обновляемых) социальных успехов и подтверждений, но не насыщение обнаружившейся, явившейся, вышедшей (вдруг наружу) жажды.

Ибо самая исходная природа этой жажды иная – *духовная*. И попытки справиться с нею материальными средствами суррогатны, обманны, инородны: её заведомо не удовлетворить вещами, деньгами, заботами, внешними достижениями, словом, всем тем, что обычно заводит на полную пружину повседневную деятельность. Но, согласитесь, осознание этого, а главное, решимость следовать ему – задача не из легких, выполнение которой может привести (да и непременно приведет) к серьезным испытаниям, грозящим нарушить устоявшееся (хотя и всегда относительное) равновесие и благополучие. И потому совсем не удивительно столь повсеместное упрятывание, маскировка (от самого себя и других), вытеснение сути причин (как мы знаем, в этом случае –

* Сходные продромы, перевалы (каждый в своей драматургии, конечно) можно обнаружить на высоте любого кризиса. Тупик как типическое субъективное ощущение перед разрешением, если посмотреть на это сугубо прагматически, для того, видимо, и нужен, чтобы обрубить, обесценить прежние, ставшие привычными ходы и решения и тем самым создать нужный напор, мотивацию, что будет толкать к поиску нового для данного человека (то есть никак не подразумеваемого ранее) выхода, который единственно даст удовлетворение возникшей жажды. Аналогичный процесс во всех творческих мыслительных задачах: пока не исчерпаны прежние ходы, новый не будет найден [Д. Б. Богоявленская, Я. А. Пономарев].

Современный мир
относит
к неприличному
высокое и духовное

духовных) в сферу затемнения, бессознательного.
З. Фрейд, в согласии со своим временем, видел в этой вытесненной из сознания сфере по преимуществу сексуальные источники и запреты.

Современный мир, раскрепостив (выпустив наружу) последнее, более того – превратив все связанное с ними в наиболее расхожий и выгодный товар, отнес теперь к «неприличному» высокое и духовное, мешающее, противостоящее засилью, напору материального и чувственного. Потому высокое надо либо занавесить, упрятать (с глаз долой), либо снизить, редуцировать, сделать ручным и удобным, подменить суррогатами (дешёвая мистика, расхожие предрассудки, ритуалы и т.п.).

Личность
оказывается
в ситуации выбора
поступка и риска

Личность как единственная (специфически человеческая) инстанция, могущая обнаружить эту подделку, оказывается в ситуации выбора, поступка, риска. И отсюда – либо неуспокоение (бахтинское «не-алиби в бытии»), взгляд в лицо проблемы и поиски причин уже духовного характера. Либо – отступление, снятие осады, подмена, петляние вокруг. Последнее не столь уже редко сопровождается (защищается от возможных внутренних укоров) всяческой дискредитацией, снижением, осмеянием того уровня, на котором обнаружившаяся жажда только и удовлетворяется; чтобы не томиться ею (помните, у А.С. Пушкина – «духовной жаждою томим»), не раздражаться теми, кто добрался до «воды живой», надо объявить возвышенное блажью, иллюзией, лицемерием, все более подчиняя, привязывая себя только к проявлениям материального уровня и пространства.

Смерть и умирание
как процесс

В результате проблема уходит из поля прямого зрения и взгляда, что не дает, в частности, хоть в первом приближении отделить в личностном сознании смерть, «которой не должно быть», от «умирания как процесса» и последнее от «околевания», «дряхления» как физиолого-медицинского явления. В итоге смерть не становится контрапунктом жизни, условием полноты «присутствия-личности», «бытия-налицо», «бытия-в-мире», «здесь-нахождения» (для верующих: «здесь-я-пред-Лицом-Твоим-есъм»).

Проблема
внутренних
смысловых
коллизий

Отметим ещё раз, что речь все время идет о внутренних смысловых коллизиях и отношениях, которые по жизни могут совпадать, а могут и не совпадать с кардинальными внешними переменами (человек может продолжать заниматься тем же делом, в том же тесном окружении и внутренне кардинально меняться, равно как кардинально меняться лишь внешне, оставаясь внутренне недвижимым).

Приходится
признать, что люди
не дают хода
мужеству перед
ужасом смерти

Приходится признать, что существует много (слишком много) психологически понятных причин, житейских обстоятельств, социальных установлений, которые объясняют (оправдывают), почему в большинстве своем, говоря словами М. Хайдеггера, *«люди не дают хода мужеству перед ужасом смерти»*. Господство публичной истолкованности среди людей решило уже и о настроении, каким должно определяться отношение к смерти. В ужасе перед смертью присутствие выходит в предстояние самому себе как врученное необходимой возможности. Люди озабочиваются превращением этого ужаса в страх перед наступающим событием. Ужас, в качестве страха сделанный двусмысленным, выдается сверх того за слабость, какой не смеет знать уверенное в себе присутствие. Что по безмолвному приговору людей «пристойно», так это равнодушное спокойствие перед тем «обстоятельством», что человек смертен. Формирование такого «возвышенного» равнодушия *отчуждает* присутствие от его наиболее своей, безотносительной бытийной способности» [3, с. 254].

Можно лишить себя
автономии духовного
присутствия

Можно констатировать, что к полноте, широте присутствия, бытийной свободе ведет, действительно, *узкий*, тесный путь, без личностного выбора, нахождения, прорыва, при прохождении которого (при всей к тому объективной сложности и субъективной невозможности), привычно ища материальных, вещных опор и подчинений, мы с неизбежностью начинаем на них только ориентироваться, обосновываться, надеяться, им подчинять себя и свою жизнь. В результате мы им постепенно уподобляемся, отдаем им (бездушным) свое человеческое лицо, о-лице-творяем и – в пределе – становимся ими (рискуем стать). В частности, войти, встроить себя в логику процесса материального умирания и дряхления, лишив себя тем самым автономии духовного присутствия.

Духовность не
сводима
исключительно
к религиозности...

Напомним при этом, что духовность (как переживание) не сводима исключительно к религиозности в её традиционной принадлежности к той или иной конфессии, но правомерна и в светском истолковании («geistlich» и «geistig»). Не исключая при этом существенных и принципиальных отличий*, подчеркнем здесь психологически общее. Это – несводимость основ человеческой жизни

* См.: Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. – М., 1994; Начала христианской психологии: Учебное пособие для вузов / Отв. ред. Б.С. Братусь. М., 1995; и др. (на с. 196 «Психология и философия», 2003).

только к материальному, к пользе и выгоде; выход на предельные вопросы бытия; поиск (жажда) смыслов, неуничтожимых фактом физической смерти. Общее есть и в генезе – это и столкновение, переход некоего рубежного состояния, кризиса, суда (себя и мира) или – возможность, моменты острого переживания беспредельного и непостижимого, будь оно явлено в природе или в нас*. Да и сама семантика слова «религия» (если взять её не только в приложении к конфессиям и догматам, но и в отношении к конкретной личности) означает «связь», точнее – «обратную (ре-лига) связь».

Обособленное
созидание, из-себя-
построение

И действительно, речь в любых видах духовности не об исключительно нашем, обособленном созидании, из-себя-построении, но всегда (осознанно или неосознанно) о подразумевании, опыте, какой-то «обратной связи», протянутых (удерживающих нас) нитях и руках. И уже, конечно, когда вопрос ребром о пределе предельного – о жизни и смерти**. Духовная сфера поэтому отнюдь не иллюзия и блажь, как продолжают полагать многие, не продукт социального конструирования или религиозного воспитания. Она бытийно укоренена и психологически явлена в каждом (другое дело – в какой степени, на какой стадии осознания и

* Возьмем, например, знаменитые слова Иммануила Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это *звездное небо надо мной* и *моральный закон во мне*». Вот уже третье столетие – и верующих, и неверующих слова эти задевают, будят, поднимают, трогают. Хочется (вместо точки) продолжить, что «будят» и «поднимают» не что иное, как «душу», равно как «задевают» и «трогают» тоже её. Но тем самым надо нарушить научно-психологическое табу и преподнести как гипотезу (что, на самом деле, утверждено в сознании тысячелетиями), будто у всех, вне зависимости от наличия или отсутствия религиозной веры, есть некое особое образование, которое, несмотря на все материалистические ухищрения, иным словом, как «душа», не назовешь.

** В самый горький момент, когда, казалось бы, не оставалось уже никакой надежды на выживание в нечеловеческих условиях, Виктор Франкл, собрав свои иссякающие силы, обратился к своим товарищам – заключенным немецкого концентрационного лагеря смерти: «На каждого из нас в эти часы, которые, может быть, для многих уже становятся последними часами, кто-то смотрит сверху требовательным взглядом – друг или женщина, живой или мертвый. Или – Бог. И ждет, что мы его не разочаруем, что мы не будем жалкими, что мы сумеем сохранить стойкость и в жизни, и в смерти... [10, с. 114].

И надо ли говорить, что слова (смысл, в них содержащийся) могли дойти и до верующих, и до неверующих, являя, отражая (у каждого по-своему) надежду, облегчение, уверенность в невидимом, в живой духовной связи с ним.

действия), оставаясь для феномена человека сущностным, онтологическим условием, чья сила и значимость особо являются в кризисные, переломные моменты, когда, в частности, естественно, как дыхание, может происходить в каждом преодолении, снятии того, по словам Семена Франка, «рокового раздора между двумя верами – верой в Бога и верой в человека, который столь характерен для европейской духовной жизни последних веков и есть главный источник её смуты и трагизма» [9, с. 5–6].

Периоды кризисов, перевалов от этапа к этапу

Итак, вопрос о смерти и ответы на него претерпевают в возрастном развитии существенные изменения, особо остро обнаруживающиеся в периоды кризисов, перевалов от одного этапа к другому.

Духовная зрелость, нормативно наступающая в результате пережитой середины жизни

Духовная зрелость, нормативно наступающая (могущая наступить) в результате пережитой «середины жизни», подразумевает новое отношение к смерти, тесно увязанное с новым отношением к жизни, пониманием (переживанием) её как «срочного обязательства», как беловика, а не черновика (который ещё когда-то будет переписан), как возможности наполнения жизни до краев отпущенного срока, её предельно осуществимой полноты. И – как центральное – выход на нематериальные опоры, не уничтожимые фактом физической смерти.

Духовная сфера бытийно укоренена и психологически резонирует в каждом

Духовная сфера тем самым не эпифеномен или надстройка, не иллюзия или блажь, не фантазия или болезнь, не продукт социального конструирования или религиозного воспитания. Она бытийно укоренена и психологически резонирует в каждом (другое дело – в какой степени, на какой стадии развития и осознания), особо являя себя в переломах и кризисах зрелости, где оказывается единственно могущей дать не шаткую опору для жизни, исполненной смыслом, который способен превозмогать (преизбыточествовать) её заведомую ограниченность фактом смерти.

1. Чуковский К.И. Дети о смерти // От двух до пяти. – М., 1966. – С. 152–161.
2. Гете И.В. Фауст: в 2-х т. – СПб., 2002.
3. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.
4. Митрополит Антоний Сурожский. Научитесь быть. – М., 2010.
5. Вересаев В.В. Живая жизнь. – М., 1999.

6. *Жданов В.А.* Любовь в жизни Толстого. – М., 1993.
 7. *Братусь Б.С.* Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. – М., 1974.
 8. *Братусь Б.С.* Аномалии личности. – М., 1988.
 9. *Франк С.Л.* Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия. – М., 2007.
 10. *Франкл В.* Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере. – М., 2004.
-